

# О, как жизнь хороша и нелепа!

*Поэту Татьяну Бек я знаю с рождения, причем в прямом смысле слова: в старом арбатском роддоме кровати наших матерей стояли рядом. Жили мы неподалеку, вместе учились в университете, общими были друзья. Поэтому разговаривать мне с Татьяной и легко, и сложно одновременно. Легко, потому что мы хорошо понимаем друг друга. Сложно, поскольку слишком о многом поговорить хочется, но размер газетной публикации не позволяет.*



— Таня, что ты подразумеваешь под нелепостями жизни?

— Наверное, несовпадение того, чего мы хотим, с тем, что у нас получается. Это относится абсолютно ко всему — и к дружбе, и к любви, и к нашей работе, несовпадение импульса и результата. Количество этих нелепостей в течение жизни примерно одинаково. Просто в разные периоды наши желания, а соответственно и результаты, различны.

— Как ты думаешь, что твой отец, Александр Альфредович Бек, сказал бы по поводу наступившего времени?

— Он бы, мне кажется, к несовпадению того, чего хотели, и того, что получилось, относился не менее трагически, чем мы. Но по образованию и по складу ума он был историком. Как-то сказал о себе: я — собственный корреспондент грядущего. Он умел на текущий процесс посмотреть глазами историка из будущего. Мы, разбираясь в том, что сегодня происходит в политике, погружаемся в детали. Для нас важно, кто сумел перерокироваться, кто-где-что украл, кого предал. А отец умел на все смотреть "без гнева и пристрастия". Наверное, он приветствовал бы крах коммунистической идеи, потому что ненавидел сталинскую репрессивную систему, и был бы рад, что с тоталитаризмом покончено.

— Ты хочешь сказать, что отец не верил в идею?

— Если говорить о некоем утопическом сознании, скорее всего, он хотел "социализма с человеческим лицом". К чему бы он, безусловно, отнесся с трагической иронией — это к тому, что нынешняя власть пришла на спекулятивной критике партийных привилегий, а устроила себе такие привилегии, по сравнению с которыми те коммунисты были просто "аскетками"... Я думаю, отец, скорее всего, затворился бы от общественной жизни и писал очередную хроника, которая не теперь, но, возможно, спустя время была бы востребована и могла помочь объяснить многое из того, что происходит сегодня. И еще. Если бы отец пришел все-таки к пониманию того, что людьми его склада совершена ми-

ровозрэнческая ошибка, он бы никогда не исключал себя из участия в этой иллюзии. Признав, что эксперимент не удался, он бы признал и то, что участвовал в нем честно.

— У тебя были близкие отношения с отцом, но ты ведь никогда не была "идейной", не подпитывалась иллюзиями...

— Я всегда была тайной трусливой диссиденткой.

— Впрочем, как и все мы в то время...

— Ненавидела цензуру, спущенный "сверху" соцреализм. И новому времени я благодарна хотя бы за то, что отменена цензура. И еще за то, что мне легко и свободно общаться сегодня с молодыми.

— Ты ведь уже лет десять ведешь семинар поэзии в Литинституте?

— Девять. Мне с ними не только легко, но интересно, часто гораздо интереснее, чем со своими сверстниками. Они совершенно другие. Они не понимают, как можно ловить кайф от антисоветских анекдотов или самиздата. Это их уже совершенно не интересует. Проще говоря, их миновала формулировка "поэт в России больше, чем поэт". Для них главное — самовыражение.

— Так же, как и для тебя, хотя вы жили во времена, когда эта фраза была руководством к действию.

— Да-да, именно самовыражение для меня всегда было главным. Я жила такой тяжелой внутренней жизнью, что поэзия и самовыражение через нее было, скорее, формой самоисцеления, как для других людей дневник или поход к психоаналитику. Сублимируясь в стихах, я для себя выясняла сложности и нелепости своего подсознания. Автор формулировки насчет поэта, считая, что он больше, чем поэт, думал, что сможет повлиять на власть в каком-то либеральном направлении, что он станет "истину царям с улыбки говорить". В результате получилось, что не он власть переделал (направивается аналогия с Маяковским, только тот иначе из тупика вышел), а просто сам перестал быть поэтом. Поэту нужно оставаться прежде всего поэтом,

тогда всем будет больше проку.

— Но ты ведь всегда хотела быть знаменитой, несмотря на то, что "быть знаменитым некрасиво..."

— У Пастернака в этом же стихотворении есть и другая строка: "Цель творчества — самоотдача". Мне почему-то было очень важно быть услышанной и быть отмеченной. Я себя за это не хвалю, но это особенность моего подсознания и моей натуры. Мне хотелось, чтобы мой голос был выделен вот почему: чем четче и глубже я отражу трагедию моего подсознания и типа людей, который я представляю, как бы за них выражу то, что мучает меня, значит — освобожусь и освобожу еще кого-то. Ну и честолюбие, конечно. А кроме того, у меня всегда было столько комплексов, не рефлектировал по поводу которых мне оказывалось невозможным.

— Насколько я понимаю, комплексы, рефлексия — это условия жизни и профессии художника. И потом русский поэт всегда воспринимается как личность трагедийная. Много ты видела счастливых поэтов?

— Ну даже Пастернак! Вот Цветаеву мне иногда просто страшно читать, настолько это вопль об одиночестве и о несовпадении с миром — "ненасытностью своею перекармливаю всех". Она сама себя не вмещала, ее было так много, а люди от этой переполненности шарахались. Она осталась в полном одиночестве.

— Но это, пожалуй, пример все-таки исключительный.

— Хорошо, возьмем любимого мною Фета. Вообще в жизни все так переплетено и сложно. Фет был преуспевающим хозяином-землеметром и как-то записал одно из своих трагичнейших стихотворений на обороте счета за керосин, где еще и приписал фразу, в которой возмущался подорожанием керосина. И листок этот от правил Толстому. Льва Николаевича это сначала возмутило, а потом он сказал, что, может быть, это и есть признак лирического поэта — когда все так перепутано. Ведь, помимо "ночных", космических, действительно трагических стихов, сколько у

Фета солнечных, радостных.

— И все же российский поэт больше трагический, мечущийся.

— Может быть, потому, что трагические, пограничные ситуации внутренней жизни гораздо больше делают человека самим собой.

— А сегодняшние стихотворцы ближе к Цветаевой или к Фету?

— Они более гармоничные личности в поэзии, чем представители моего поколения. У них нет этого жуткого конфликта между внутренней жизнью и внешней политикой, они могут описывать наркотические ломки, проклинать вождей — у них нет этих тайных внутренних сшибок, они добрее.

— Да что ты?! Мне кажется, мы были добрыми, а нынешние жестче, жестокие.

— В свой семинар в Литинституте я иду, даже будучи в самом плохом настроении, но это то место, где я подключаюсь к какой-то более здоровой и витальной энергии.

— Сегодня невозможно жить только литературой, особенно поэзией. И при этом конкурс в Литинституте большой, вот странно...

— А они к этой установке — кормиться только литературой — никогда и не были привязаны. Все они имеют специальность уже сейчас — кто преподает, кто работает в газете или издательстве. Это для них совершенно нормально, и это, на мой взгляд, позитивная сторона жизни. Наше поколение "отравила" карьера официальных поэтов, казалось, что, выйдя на определенный уровень, можно жить припеваючи...

— Но ведь так оно и было. И "секретарская", и псевдоопозиционная литература давала ее авторам очень многое. Другое дело, что софроновско-грибачевскую поэзию было не прожевать, а талантливых не печатали. Да вот и ты всю жизнь работала, а книжек за четверть века лишь пять издала.

— Для меня важнее самовыражение. Во мне закипает что-то, и я это должна выплеснуть из себя стихами. Остальное — дело десятое. Пусть пять книжек, ну и что?

— Нет у тебя ощущения, что поэзия сегодня нужна только са-

мим поэтам и небольшому кругу "их публики"?

— Но, может быть, это более нормально, чем во времена, когда поэзия...

— ...собирала стадионы?

— Видишь, мы с тобой в один голос сказали. Сейчас поэзия возвращается в более присущее ей состояние, как раз болезнью была стадионная гипертрофия, когда поэзия взяла на себя роль честной публицистики, философии, религии, которых в нашей жизни не было, а сейчас поэзия выздоравливает.

— Но не было бы Лужников, не воспиталась бы плеяда романтиков, ринувшихся в перестройку. Не было бы, в конце концов, сегодняшней свободной поэзии...

— И вот здесь притаилась одна из нелепостей жизни, которая меня мучает. Близинство из этих романтиков справедливости и социальных прав очень быстро стали прагматиками, циничными эгоцентрическими практиками, быстро перешедшими к этапу первоначального накопления. Меня это убивает.

— Но литература в России всегда была сильна проповедническим, нравоучительским — влиявшим на нравы — характером. Откуда взяться новым "шести-десятникам", для которых поэт в России был больше, чем поэт, и благодаря которым романтики уже нашего поколения закрыли коммунистическую страницу исторической главы? Возникли новые нелепости жизни, которые кто-то ведь должен исправлять?

— У философа Хайдеггера есть замечательное выражение — "хаос жизни". Вот мы сейчас живем в хаосе зияния, между эпохами.

— Как ты писала когда-то: "... в этом братстве коммунальном мы росли эпох промеж".

— Ты спрашивала, что бы мне отец ответил на мои сегодняшние вопросы о нелепостях жизни. А я вот думаю, что я бы ответила своим детям, будь они у меня, или своим ученикам. Лет десять назад я написала стихи, где есть такие строчки: "Наследница страшной зоны/ в крови стою и в пыли./ У неба свои законы./ Невнятные для земли". Я все равно ощущаю себя наследницей того времени — и хорошего, и плохого. Расскажу тебе об одном эпизоде, на мой взгляд, забавном, в котором соединились прошлая и нынешняя жизнь. Не так давно, перед Пасхой, я была в церкви. И вот иду мимо каких-то несчастных и безумных старушек, призывающих к борьбе за советскую власть. Вдруг вижу — навстречу идет двойник Ленина ("работает" у нас в Москве такой "пост-модернист"), по-моему, сильно выпивший с утра пораньше. И эти женщины бегут к нему с овациями, поцелуями. А я думаю про себя: "О, как жизнь хороша и нелепа!"